

МОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Этот день, День Победы 9 мая 1945 года, так врезался мне в память - будто и нет долгой череды лет между мною тем и мной сегодняшним: каждая мелочь помнится зрением, слухом, осязанием - видно, я, несмотря на свой малый возраст, все-таки понимал смысл этого дня и его значимость в ряду прочих дней? Хотя что могу добавить ко всему написанному о том времени и том дне я, вместе со своим детским восприятием? Тем более что происходило это в таком далеке от сражений и побед той войны, что и представить себе трудно: в глухой деревне, дальше которой и дорог-то нет - одни чащи и болота. Но память снова и снова возвращает меня туда, к пережитому только мной - и никем иным, и среди пережитого – тот долгий-долгий весенний день, не самый последний в ряду других.

Утро в тот день стояло такое яркое и солнечное, какое бывает после долгих ненастий; острые ветерки гуляли, и бежали по синему небу белые барашки; я стоял на деревянном, сыром от дождей крыльце, жмурился от еще невысокого с утра солнца и чувствовал лицом его тепло - будто мои щеки гладят теплыми ладонями.

Я тогда любил, щурясь, глядеть на солнце и видеть сквозь ресницы, как выходят один из другого и пульсируют в моих глазах золотые и синие радужные круги... Так я стоял и щурился, и таял от солнечного тепла, хотя надо было бежать в магазин и становиться в очередь; в кармане пальтеца - плетеная авоська, а в ладони - синяя бумажка, хлебная карточка, так крепко зажатая, что если б даже я упал в яму или бы меня ударили - я бы эту ладонь не разжал: прекрасно знал, почему этой бумажкой размером с детскую ладонь надо дорожить. Тем более что уже однажды ее потерял: сунул в карман, а потом не нашел, - и оставил всех на неделю без хлеба... Кроме меня, бежать некому: мама на работе, на бабушке – кухня и огород, а с брата что возьмешь: он маленький. Да мне и нравилось бегать за хлебом - я за это имел право на награду: откусывал хрусткий уголок от черной буханки, и меня за это даже не ругали.

Но я стоял и никуда не бежал, потому что не только солнце держало меня: задрал голову, я смотрел на высокий тополь, с которым творилось что-то странное. Не потому, что наверху галдела стая воробьев – нет, на моих глазах с треском лопа-

лись почки на ветках: их тоже пригрело солнцем, и на крыльцо дождем сыпалась бурая чешуя, а каждая освобожденная почка начинала топорщиться острым зеленым листиком. Я наклонился, набрал в свободную ладонь чешуи и стал нюхать; она пахла пылью, ветром, а, главное, смолой, и я жадно внюхивался в этот глубокий, сладостный запах... Не знаю, сколько я так стоял, но очнулся я от мальчишеских криков: по улице бежали двое подростков – у одного в руке тонкое древко с красным флажком наверху, а другой кричит так, что голос его звенит и срывается: «Победа! Война кончилась! На митинг к сельсовету! Победа!..»

Я швырнул пахучую чешую, быстро, чтоб никто не видел, вытерев липкую ладонь о пальтишко и - мигом в дом:

- Бабушка, бабушка, война кончилась! На митинг зовут!

Бабушка стояла у плиты в голубом чаду - жарила *драники*. И - ни слова в ответ. Только выпрямилась, мелко перекрестилась и снова наклонилась над шипящей сковородой. И когда повернулась ко мне, я заметил на реснице у нее слезинку.

- Бабушка, можно я схожу на митинг? – уже тихо спросил я.

- Нет, - ответила она. - Опять простынешь. Иди за хлебом.

- Не простыну! - начал я клянчить.

- Нет! - уже твердо отрезала она.

* * *

И тут пришла мама - в доме зазвенел ее голос; я ликую уже от одного ее голоса - мне некого больше любить так сильно, как ее: братишка – маленький и часто хнычет, бабушка – хозяйка, хранительница, а хранительнице надо быть строгой... Знаю, что маме всегда некогда, но что она меня все равно любит, не требую своей доли внимания и помалкиваю себе – мне вполне хватает ее голоса и ее кратких прикосновений ко мне; мы с ней – как заговорщики с общей тайной.

Правда, бывали моменты, когда мы с ней оставались вдвоем; чаще всего то было летними полднями: она приходила на обед, но вместо обеда бежала доить корову; идти было далеко за деревню, на вытоптаный стадом озерный берег, *тырло* - там коровы ждали своих хозяек, и я очень хотел, я изнемогал от желания пойти туда с ней, и она чувствовала это и позволяла мне. И неважно, что это далеко и что всю дорогу - бегом; зато целый час – вместе. Наговоримся! Особенно, когда назад; да еще на полдороге, чтобы дать руке отдохнуть, она ставит подойник, полный молока, сходит с дороги и собирает букет из ромашек и синих гераней. А в настроении – так еще спросит: «Знаешь такую песенку?» - и поет, и смеется. Так и остались в памяти,

слившись воедино, солнечный блеск полудня, одуряющий запах цветов на жаре – и серебряный ее голос...

* * *

В тот день она пришла, и прямо с порога - бабушке:

- С победой, мама! С победой вас всех! - и как была, в коричневом жакете и клетчатом платке, порывисто обняла меня, а потом затормошила, закружила бабушку. И вдруг - всмотревшись в нее: - Мама, ты плакала?

- Петя... Петя... - залепетала бабушка, и беззвучные слезки опять потекли у нее из глаз, застревая в морщинках.

«Петя» - ее старший сын, мамин брат, мой неведомый дядя, пропавший на фронте без вести. Мне говорили, что я на него похож. Иногда я украдкой доставал фотоальбом, всматривался в его фотографии и никак не мог понять: чем же я похож на этого человека с суровым прямоугольным лицом, сжатыми губами, с резкими складками у губ, прямо глядящими глазами и копной светлых волос надо лбом?.. Станным было еще вот что: когда заговаривали о нем и я хотел его себе представить - то видел в своем воображении не эти фотографии, а какие-то неясные кадры, будто из немого кино: снежное поле, бегущие фигуры бойцов в шинелях, с длинными винтовками в руках, и один, самый ближний ко мне, чем-то похожий на дядю Петю, будто бы, бежит по снегу, торопится не отстать от других; я хочу заглянуть ему в лицо, удостовериться: он это или нет? - и тут он падает, уткнувшись в снег; я мысленно обхожу его вокруг и никак не могу увидеть лица... То было не во сне - я видел все это с открытыми глазами! Но почему, почему мне виделось именно это? - я же не видал еще ни живого бойца, ни кино про войну, не читал про войну книжек! И я боялся рассказать о том, что видел – мы тогда еще не знали, что дядя Петя убит: моя тетя, чтобы не расстраивать бабушку и маму, не писала им, что получила *похоронку* – написала, что Петя *пропал без вести*.

Но отчего так часто плакала о Пете бабушка? А мама, тоже еще не знавшая правды, успокаивала ее:

- Не плачь - давай будем верить и надеяться! Вот увидишь: кончится война - и Петя найдется! Не плачь!..

* * *

- А ты чего так рано? - спросила бабушка маму. - Обед еще не готов.

- Переодеться - тепло сегодня, - мама сняла клетчатый платок и надела берет.
- Митинг будет у сельсовета. Пойдем, мама?

Но бабушка отказалась. Зато я вскинулся:

- Я тоже хочу на митинг!

- Вот *вяньгает* и *вяньгает!* - проворчала бабушка. - Простынет там - ветрено сегодня.

- Мама, но это же исторический день - пусть запомнит на всю жизнь! - вступилась за меня мама.

- Ну, смотри, - сказала бабушка сурово. - Только вытащили...

* * *

Тут стоит объяснить, откуда меня «вытащили». Но сначала - о моих отношениях со школой. Мама работала там счетоводом и библиотекарем, и как только я начал бегать к ней на работу, мне понравилось рассматривать у нее в библиотеке книги с картинками. Я просил маму научить меня читать, но ей все время было некогда. Научила бабушка, причем с умыслом.

К нам приходила маленькая районная газетка; они хранились потом дома для всякой нужды: из них делали стельки, ими обертывали продукты, их выпрашивали *эвакуированные*, что ютились в землянках на краю села: говорили, что газеты они стелят вместо простынь, и газетами же, сшитыми и простеганными, укрываются вместо одеял. За газетами приходили двое мальчишек. Один из них - подросток-белорус; прося газеты, он непременно добавлял: «Дайте хучь ядну картовочку», - и говор его казался мне таким смешным, что я едва не прыскал от смеха – сдерживал меня лишь суровый бабушкин взгляд. Второй был мой сверстник, мальчишка-немец с нежным лицом и большими карими глазами; мне с ним хотелось заговорить, но он, чувствуя мой интерес к нему, лишь беспомощно улыбался и произносил всего два слова, и то с немецким акцентом: «картоффельн» и «газетт»... Бабушка угощала их вареной картошкой, но газеты давала не всегда – они были ценнее картошки.

Она любила читать и перечитывать их, но читала с трудом: стекла ее старых очков были треснуты и склеены полосками бумаги; она берегла очки и надевала их, только когда приходили письма, а, уж одев, прочитывала их по несколько раз кряду, надеясь вычитать там что-то еще. А ради газет она их даже не надевала - лишь держала в руке и водила ими вдоль строчек.

Она научила меня азбуке, чтобы я читал ей газеты... Вечер; в окна бьет метель, в плите цвенькают угольки, на столе – *коптилка* (стеклянный пузырек с керосином, а в горлышке - фитилек с желтеньким, с ноготок, пламенем), и мы - вокруг:

мама чинит что-нибудь ручной иглой, бабушка трет на терке бесконечную картошку, братишка, высунув язык, огрызками цветных карандашей рисует *маляку* и не хочет идти спать: в комнате, где наши кровати - темно и страшно. А я шпарю вслух: какие заняты нашими войсками города, сколько уничтожено фашистов, танков и самолетов. Если неправильно прочту слово, мама меня поправляет, или заговаривает с бабушкой. Тогда я отдыхаю от чтения: смотрю, как по стенам ползают наши большие черные тени, страшные и смешные одновременно, и слушаю, как в щели за плитой поскрипывает наш невидимый друг-сверчок.

* * *

Прошлой осенью я запросился в школу, но у мамы были проблемы с моей экипировкой - да мне и не было семи - и они с бабушкой стали меня уговаривать:

- Рано тебе еще в школу – подрасти!

Но я их укланчил. Тогда из грубого холщового коврика с аппликацией: семейка грибов-мухоморов со шляпками из красного, в белый горошек, блестящего шелка, - мне сшили торбу с лямкой через плечо; я положил туда букварь, две, в клеточку и косую линейку, тетрадки и новый желтый пенал, пахнущий сосной и лаком, а в пенале - карандаш и красная деревянная ручка с новым стальным перышком, а в боковом кармашке торбы - наша полная чернил фарфоровая *непроливайка* с золотым петушком на боку.

У меня был самый прекрасный в мире сосед, Денис. В свои двенадцать лет он умел всё; особенно у него получались *живые* игрушки: скакали деревянные зайцы, кузнец поочередно с медведем били молотками по наковальне, гимнасты вертелись на перекладинах... Когда я болел, он мне их дарил, а бабушка отдаривалась тарелкой драников... Еще в августе, твердо задумав идти в школу, я помогал Денису готовить чернила: собрали с ним по сухим косогорам корзину ягод крушины, а потом варили их с солью в чугуне, пока не получились две бутылки густого, как деготь, коричневого настоя. И одна из бутылей была моя!

В общем, собрал я торбу, и мама отвела меня в школу. Но школа разочаровала меня скукой: там целую четверть долбили алфавит, а я уже читал газеты! Пришлось терпеть. Хорошо еще, учительница, чтобы я ей не мешал, догадалась давать мне мел и разрешала рисовать на доске все, что хочу, и я изрисовывал ее танками и самолетами. Потом втянулся в занятия. Пока в начале весны не свалился с горячкой.

* * *

А получилось так: зимой нашу улицу переметало сугробами, и дорога шла по

ним, как по горам, то поднимаясь на заступы, то ухая вниз... Но в тот мартовский день стало вдруг так тепло, что весь снег разом отсырел и размяк. Я же, хоть и осторожно, а все-таки и беспечно шел себе посреди дня из школы домой, останавливаясь время от времени полюбоваться своими новыми галошами поверх теплых носок... А галоши и вправду были хороши: блестели так, что на них играло солнце, и волшебным пахли резиной, а изнутри выстелены алой байкой. Я с зимы мечтал, как выйду в них на улицу, и в тот день мечта моя сбылась: мне разрешили пойти в них в школу!

Но тут, уже днем, где-то на полпути к дому, подо мной стала разверзаться наконец раскисшая дорога: только выдерну из снежной каши одну ногу - тотчас же вязнет по самый пах вторая; вмиг мои галоши наполнились водой, что накопилась под снегом; через сотню таких шагов я выбился из сил, а ноги мои замерзли. Но самое ужасное - глубоко в снегу потерялась одна из галош.

Мне бы плюнуть на нее да скорей бежать домой в одних носках - но я не хотел с ней расставаться! Зарывшись с головой в сырой снег, я вслепую шарил и шарил там руками - и никак не мог найти.

Не знаю, сколько я ее искал, но я уже вымок до нитки и замерз: начали отбивать чечетку зубы. И – никого вокруг. Пришлось сдаваться: я махнул на галошу рукой - но потерял время; снег под ярким солнцем раскисал окончательно, так что дальше идти было еще хуже: он уже не держал меня: я просто-напросто полз по дороге, влопча за собой торбу. Это был какой-то кошмар: я выбивался из сил и замерзал посреди родной улицы, в двухстах шагах от дома, под ярким горячим солнцем!

Мне уже приходилось переживать смертельный страх. Правда, все произошло тогда в секунды - я даже не успел как следует испугаться.

То было прошлым летом; меня давно дразнили белоснежные лилии с оранжевыми сердечками внутри - они плавали среди круглых листьев на черной воде речного омута под горой. И нужен-то мне был всего один цветок - заглянуть внутрь и понять: что там, внутри цветка, за огонек горит? Чтобы разгадать тайну, я притащил длинную палку и стал тянуться ею до ближнего цветка. Я осторожничал: знал, что - чревато, а плавать еще не умел. И надо же: в момент, когда палка коснулась цветка, среди плавучих листьев что-то громко плеснуло – щука, наверное - не водяной же и не русалка: в доме у нас не верили в них и нас приучали не верить, - но я вздрогнул, поскользнулся на мокрой глине и шлепнулся в воду.

Палка меня выручила - не дала сразу пойти ко дну. О, как я боролся тогда за жизнь: как отчаянно, до белого кипения молотил руками воду, как сдирал ногти, впи-

ваясь пальцами в скользкую глину берега, как вжимался в нее лицом, грудью, животом, подобно древнему земноводному существу медленно выползая из воды на сушу! И как, выбежав потом на сухой обрыв, подальше от воды, стоял, испуганный, весь мокрый и грязный, с бешено колотящимся сердцем - но счастливый и торжествующий, оттого что не поддался страшной пучине, вырвался из ее лап!

Однако снежная стихия в тот мартовский день никак не хотела меня отпускать. Я уже выбился из сил в проклятом месиве из сырого рыхлого снега; никогда больше я, кажется, не чувствовал такого бессилия.

Не пойму: как у меня хватило тогда сил доползти до дома?.. Бабушка раздевала меня донага возле теплой плиты, а я пытался рассказать, где потерял галошу, и не мог - так отчаянно стучали зубы, а из глаз лились слезы обиды, хотя плакал я редко - за слезы безжалостно дразнили и дома, и на улице: «нюня!», «плакса!», «раз-два-три - сопли подотри!»...

Бабушка напоила меня горячим чаем с молоком, уложила в постель, укрывши поверх одеяла маминым полушубком, и ушла, пообещав найти распроклятую галошу - не только чтобы успокоить меня: в то военное время галоши ого-го как ценились!.. А я, как только она ушла, вылез, несмотря на неумную дрожь, из постели, подошел и приткнулся к окну - удостовериться, что она и в самом деле, взяв лопату, отправилась со двора. И долго-долго ждал, а потом снова торопливо влез в постель - унять дрожь и икоту от слез - когда она, наконец, показалась со злополучной, чудом спасенной галошей в руке. А я, окончательно успокоенный, впал в забытие.

Заболел я тогда жесточайше. Отчетливо помню картины бесконечно-вязкого бреда. Обычно утрами, проснувшись, я любил разглядывать рыжие пятна потеков на потолке и старался угадать в них человеческие лица, фигуры лошадей, собак, овец... А теперь эти пятна ожили и пульсировали, кружились, наплывали одно на другое, и я никак не мог остановить их взглядом; пятна превращались в страшные, злобные звериные морды: они шевелились, скалили зубы, и я никак не мог узнать в них знакомых животных - теперь это были тигры, медведи, крокодилы - и волки, волки, волки... Что волки, это понятно - о них столько было разговоров в те годы: то забрались в хлев и задрали у кого-то корову, то растерзали в поле коня вместе с седоком в санях, то сожрали школьницу прямо на дороге - остались лишь валенки с ногами внутри... А однажды в начале зимы бабушка показала мне в окно: «Вон они, проклятые!» - и я в самом деле увидел, как далеко-далеко на белом снегу после первой пороши осторожно пробиралась через ставшую реку цепочка волков, чтобы обосноваться на зиму в болотистой речной излучине вблизи от деревни; я даже посчитал

их: пятеро! А весной, в ледоход, они уходили обратно, в заречные болотные чащобы, ошалело прыгая по льдинам... Ну ладно, это волки, обычные у нас тогда звери. Откуда же остальные-то?.. Как я думаю, просто мама читала мне во время болезни сказки про них, и в моей голове всё шло кругом...

А когда я выкарабкивался из бреда, меня разрывала такая нестерпимая тоска, что хотелось не просто плакать - а выть по-звериному, и когда никого из взрослых в доме не было, я давал себе волю: выл до изнеможения. Потом засыпал.

Приходил старичок-фельдшер, добрейший Вячеслав Палыч с красным личиком и седенькой, клинышком, бородкой. Он бодро приступал ко мне: «Нуте-ка-с, молодой человек!» – и начинал теревить: заглядывал с помощью ложки в горло, заставлял раздеваться, выстукивал грудь, вслушивался в нее через деревянную трубочку. Прикосновения его ледяных пальцев и трубочки к горячечной коже приятно щекотали. А потом мой обостренный слух ловил его разговор с мамой и бабушкой за дверью; что-то без конца выпрашивала мама и шептала бабушка, но два слова в их с фельдшером разговоре слышались отчетливей других: «кагор» и «умрет». Слово «кагор» было мне неизвестно, а второе я знал, прекрасно понимая, что оно - обо мне, но был уже так измотан бредом и нестерпимой тоской, что воспринимал это слово с полным равнодушием. Было только жалко маму – я представлял себе, как она будет горевать обо мне, и от этого опять хотелось плакать.

Потом у нас появился «кагор», пряное, красивого густо-багряного цвета лекарство в большой бутылке. Меня тогда лечили сразу несколькими противными жидкостями - в том числе и рыбьим жиром - а в награду я получал чайную ложку этого самого сладко-душистого «кагора», и жизнь моя благодаря ему затеплилась веселее, будто в моей крови вспыхнул огонек.

* * *

И вот мы идем с мамой на митинг нашей улицей, где сугробов уже нет и в помине, по зеленой бархатной травке, проклюнувшейся из чернозема на дороге, вдоль еще сырых плетней, сплетенных из ивовых прутьев, и у каждого плетня - свой рисунок: то - как шашечная доска, то - винтом, то - девичьими косами. А за плетнями курятся зеленые облака черемух в прозрачных листочках и завязях; скоро эти облака набухнут и закипят белой пеной; да одна из них, вросшая в теплую завалинку дома, уже полыхнула белым цветом, и от нее текут по улице горько-душистые волны.

Мама торопится, крепко держа меня за руку, и мне так легко рядом с ней, что

хочется сразу и бежать вприпрыжку, и идти с ней в ногу, и я без конца переступаю, чтобы попасть ей в такт, и все сбиваюсь; от слабости после недавней болезни кружится голова.

- Теперь скоро папа вернется, - говорит она. - Ты помнишь его?

Мне смешно: как же не помнить, если он всего два года как ушел на фронт (он учитель, и его взяли не сразу)! Только не умом помню – а осязанием, обонянием, слухом: какой он резкий, с громким голосом, с твердыми пальцами... - и память моя о нем не тянется во времени, а вспыхивает короткими молнийными зарницами.

Самая яркая - как мы с ним идем дальним краем села, за которым озеро внизу; ветрено, пасмурно; он торопится и тащит меня за руку, но вдруг останавливается, как вкопанный, и смотрит вдаль. От неожиданности я наталкиваюсь на него и - тоже смотрю туда. И, будто очнувшись от сна, вижу такое, что перехватывает дыхание: дорога с домами по одну сторону ушла вправо, и перед нами распахнулся огромный простор во все стороны: и само озеро, и неоглядная даль за ним, и огромное небо надо всем этим, всё в клубящихся тучах; сквозь прореху в них бьет в середину озера столб света, и вода там вскипает зелеными волнами, вспыхивая бликами на гребнях так, что больно глазам... И отец, и избы при дороге, и я сам показались мне вдруг такими маленькими в этом необозримом пространстве - но оттого, что мы все так малы, совсем нестрашно; сердце теснит еще непонятное чувство близкого родства с отцом, с этими избами и этим пространством, имени которого - родина - я еще не знаю, и не знаю еще, что уже спаян с ним навечно - но именно в тот момент оно проснулось и поселилось во мне, и владеет мною с тех пор, ставши частью души... И я знал, знал тогда, что и отец чувствует то же, только - не в силах перевести своего чувства на понятный мне язык; он лишь показывает пальцем вдаль и говорит с азартом охотника:

- Смотри, смотри: во-он там - видишь? - утки сидят! - и я увидел множество рассыпанных на волнах черных точек: они то появляются на гребнях волн в центре огненно-зеленого сияния, то исчезают в провалах...

А, уезжая на фронт, он, уже в шуршащем, выгоревшем от солнца плаще, в серой кепке, с рюкзаком за плечами, берет меня на руки, прижимает к колючей щеке так, что, кажется, сейчас раздавит, потом поднимает под потолок и говорит:

- Расти тут без меня во-от такой большой! - и смеется. Но что это за вода текла тогда у него по щеке?..

И последнее: дорога среди осенних картофельных полей с сухим бурьяном на межах тянется вверх и вверх, уходя где-то там, на закате, за горизонт, и - далекая

телега на ней, а в телеге он и мама, провожающая его в райцентр. А я, проводив их до этих картофельных полей, стою и долго слежу за тем, как телега превращается в точку, и точка растворяется без остатка – в небе ли, в сухой ли осенней дымке?..

* * *

А тем временем мы с мамой миновали нашу улицу. Дальше, мимо пустыря с озерком талой воды посередине – идти в другую половину села, туда, где сельсовет. Слева за пустырем - наша школа и широкий двор с расставленными там и сям гимнастическими снарядами. Я привычно взглядываю туда... Но что это? Там, на траве за штакетником - что-то большое и серое, а рядом - двое взрослых.

- Мама, что там такое? – напряженно вглядываясь, показываю я рукой.

- Там Серко лежит, - отвечает она.

- А что с ним? - спрашиваю уже с тревогой.

- Он... он умирает.

- Как? – вскрикиваю я. - Серко? Не может быть! Мама! – я останавливаюсь и гляжу на нее с отчаянием. Идти на митинг, когда Серко умирает? Мне стыдно за нее! Она все забыла!..

- Ну что ты, что? - пытается она меня успокоить. - Я была там. Там Константин Никитич с Орсей остались. Мы ничем не поможем. Пойдем!

- Мама! Я не хочу на митинг!

- Сынок, но это... это не для тебя зрелище! - тянет она меня за руку.

- Почему он умирает, мама?

- Он надорвался. У него больное сердце.

- Мама! - умоляю я. - Я гляну - и догоню!

- Но ты же хотел на митинг!..

Мы еще некоторое время препираемся. Наконец, из какого-то соображения она разрешает мне:

- Хорошо, сбегай, только быстро...

Но теперь, когда разрешено - мне вдруг стало страшно встретиться со смертью: от этого слова тянет ледяным холодом... Однако желание пойти туда пересиливает, и я бегу со всех ног, боясь не застать чего-то важного. Бежать далеко: до дыры в штакетнике, огибая угол забора.

И я добежал. Будто боясь что-то спугнуть, подхожу неслышно. Серко лежит на боку с вытянутыми ногами, положив на землю голову, а над ним стоят директор шко-

лы Константин Никитич и конюх Орся.

Неулыбчивый директор - в темном пиджаке с черной косовороткой и в высоких, до колен, хромовых начищенных сапогах; кряжистый Орся с деревянной ногой - в рваном ватнике; на красном обветренном лице его - небесно-голубые глаза и седая щетина. Перед ними на траве - пустое ведро.

- Здравствуйте, - почти шепотом здороваюсь я.

Директор мельком глянул на меня сверху вниз. Узнал или нет?

- А тебе чего тут надо? - обернулся Орся.

Я яростно глянул на него и отодвинулся подальше.

- Это - счетоводшин, - пояснил директор.

- Да знаю! - отозвался Орся и тут же потерял ко мне интерес.

Директор суров, худ и темен лицом. Ученики его боялись. Я тоже побаиваюсь, но меня тянет к нему любопытство. Совсем не потому, что мы соседи - он живет наискосок от нас. И не потому, что он - редкий мужчина в селе. Тянет исходящая от него тайна: во-первых, он «язвенник», а во-вторых, несмотря на его устрашающий вид, знаю: он – добрый. И так получилось, что Серко и директор слились для меня в нечто общее.

Меня неудержимо влекло к лошадям, но единственной лошастью, с которой я тогда имел возможность общаться, был Серко. Потому ли меня влекло, что он был для меня живым воплощением силы, от которой скрипит толстая ременная упряжь и стальной лемех плуга с гулом взрывает землю, оборачивая ее черно-жирной изнанкой? Запах ли пахучего конского пота влек, самый, казалось, прекрасный на земле запах? Или прихотливые изгибы конского силуэта, точеные линии его головы, шеи, ног? - мама говорила, что Серко - выбракованная рысистая лошадь.

Меня влекли тайна силы и тайна красоты – хотелось быть причастным к ней, и, несмотря на окрики взрослых: “Не лезь, укусит!.. Не подходи, лягнет!” – я искал случаев, чтобы подойти к Серку - даже набирался смелости дотронуться до него и погладить по шелковистой шерсти на груди или плече.

Беззубая бабушка не могла одолеть хлебных корочек и копила их, чтобы варить из них квас, а я их крал, чтобы отдать коню, со страхом и восторгом обмирая, когда он огромной мягкой губой осторожно брал их с моей ладони. И пока он, гремя удилами, жевал их, я напряженно глядел в его огромный фиолетовый глаз, а конь кивал мне и улыбался, скаля зубы.

Намного позже, уже подростком, когда я накидывал узду на другого коня, злого и капризного - тот резко повернулся ко мне крупом и взбрыкнул; я отскочил, и заднее

копыто свистнуло возле уха; я с ужасом понял, что мог быть сейчас убит. Но то был уже не Серко, первый в жизни знакомый мне конь, понятливый и добрый. Кони – как люди: разные.

Серко был единственной в школе лошадей; на нем возили учителям дрова и сено и пахали огороды. Дрова и сено возил Орся, а огороды пахал сам директор. И вот в прошлом году, в последнюю пахоту на Серке, угадав мое заветное желание забраться на коня, он сказал: “Ну, давай, солдат, держись!” – поднял меня и усадил верхом, пока конь, измотанный бесконечными пахотами, стоял на меже не распряженным и, отдыхая, жадно рвал губами молодой пырей, сочно хрустя им и пуская меж губ зеленую пену. А я, не дыша, сидел на нем верхом, намертво вцепившись в стриженую темную гриву, и испытывал блаженство.

А разве забыть, как мы с мамой копали в поле картошку (сам я из-за малосильности только подносил пустые мешки и держал их, пока она ссыпала в них картошку), а когда выкопали всю – пошла за Серком, чтобы ее вывезти, и оставила меня караулить мешки? В тот день многие копали и возили картошку; мама, видно, ждала, когда кто-то увезет свою, и я сидел там долго-долго. Начинало темнеть, на других делянках затихали голоса. Пятки чесались сорваться и бежать что есть мочи вслед за голосами, но я сидел и сидел на мешках, боясь шевельнуться и вслушиваясь в шорохи вокруг.

И как же сладко было услышать вдали сначала тележный скрип, потом – фырканье коня и нетерпеливый голос мамы, подгонявшей Серка. Вымотанный конь не хотел переходить на рысь, и тележный скрип тянулся бесконечно. Потом мама, заблудившись в темноте, остановилась где-то недалеко и крикнула, чтобы я отозвался. Тут уж я орал изо всей мочи. И – наконец-то! – надвинулась на меня огромная в темноте, родная лошадиная морда, которую хотелось горячо с благодарностью обнять. «Ты не плакал?» – спросила меня мама, и я удивился – я и не подозревал, что можно было поплакать!..

Потом мы грузили на телегу мешки. Мама приехала молчаливая и сосредоточенная, и не пела, как всегда; это было так на нее непохоже – видно, ей пришлось с кем-то поругаться, прежде чем взять коня. Было жалко ее; я сильно хотел ей помочь и суетился, а она, уже выбившись из сил, то кричала на меня, чтобы я не мешал, то просила приподнять хотя бы угол мешка, чтоб удобнее взяться, то умоляла меня не поднимать его самому: «Не смей, надорвешься!» – но мне эти ее окрики были как сладкая песня; и ночь уже не страшила – главное, с нами был наш спаситель Серко.

* * *

Но на Серке не только пахали, возили картошку, дрова и сено – на нем еще, поставив на телегу или на сани плетеную из прутьев *кошевку*, ездил по делам в районный центр директор. И на нем же ездил в районный банк мама.

Однако, оборачиваясь туда и обратно за день, возвращалась она поздно. Бабушка укладывала сморенного братишку спать, и мы с ней, занимаясь своими делами, ждали ее; мама приезжала обычно с покупками для нас или для знакомых и – с новостями.

Однажды она задержалась очень поздно. На улице набирал силу мороз, бревенчатые стены потрескивали; бабушка все больше волновалась, и ее волнение передавалось мне. Она отсылала меня спать, но я не желал, и она ворчала. Однако ворчала она, я чувствовал, не всерьез: вдвоем было не так пусто и одиноко.

В то же время мы, не сговариваясь, чутко вслушивались в тишину. Я все чаще бегал к окну, чтобы, просунув голову меж горшков с цветами, глянуть на улицу. Глядеть было трудно: нижние стекла зимой обрастали льдом, и я большим латунным пятакон, нагретым на плите, проталкивал в нем *глазок*. Однако полностью очистить стекло в глазке не удавалось, и наружный мир сквозь него виделся фантастически искривленным. Особенно фантастическим он был в тот вечер: на улице стояла полная луна, освещая сугробы мертвым голубым светом; я смотрел на этот, казалось, навечно застывший пейзаж, а губы сами собой шептали: «Мама, приезжай скорее!..»

Но вот раздался скрип снега на дворе. Я глянул в глазок: стоит у ворот подвода! Меня будто ветром подхватило: я – к двери, шапку с шубейкой наспех – на себя, и – на улицу. Бабушка вслед: «Ах ты, сорванец!..» - да мне уже не слышно, чем она кончит фразу: вылетаю на крыльцо и прыгаю вниз - помочь маме открыть ворота.

Наконец, ворота распахнуты; она под уздцы вводит коня во двор, распрягает и ведет в сарай. Он уже знает это и сам туда торопится.

В сарае после лунно-снежного блеска – непролазная темь, надышанное коровой тепло, густой запах мочи и навоза. Пугливо шарахаются в темноте овцы, корова отзывается доверчивым мычанием...

- Уходи отсюда, запачкаешься! – кричит на меня мама; я выхожу и терпеливо жду ее снаружи. Она задает коню сена, выходит, плотно прикрыв дверь, затем, подойдя к саям, роется в кошевке, достает из сена портфель, и, наконец, мы вместе с клубами густого пара вваливаемся в дом.

У бабушки уже готов для мамы ужин на столе, но маме не до него: скинув тулуп, пальто и два платка, она первым делом идет к плите и отогревает руки, затем

попеременно жметя к обогревателю спиной и грудью.

- Замерзла, как собака! - говорит она, когда губы начинают ее слушаться... Отогревшись, она садится, наконец, за ужин и на бабушкино ворчание: «Почему так поздно? Надо было остаться в райцентре!..» - уже повеселевшая и еще возбужденная ездой, не в силах молчать, отвечает:

- Скажи спасибо Серку, что нас с ним сегодня волки не загрызли!.. – и начинает рассказывать, что с ними случилось: как выехала она из райцентра засветло, но, отъехав километра три, встретила обоз с сеном; широкие сенные возы загородили дорогу, а Серко, не желая лезть в снег, заупрямился. Тогда с переднего воза слез мужик, выхватил у мамы кнут и перетянул Серка так, что тот единым махом прыгнул далеко в сугроб, а мужик, забравши кнут, поехал себе дальше.

- Отдай кнут! – кричала ему мама, боясь вылезти из саней: под нею в сене лежал портфель с деньгами, - но мужик только расхохотался:

- В следующий раз, тетка - самому нужен!..

Кое-как вытащила она Серка из сугроба и поехала дальше. Только, уже приморенный, торопиться без кнута Серко не желал, и – ни кустика рядом с дорогой, чтоб выломать хворостину. Так и плелся он чуть не всю остальную дорогу шагом, лишь изредка переходя на рысь, когда мама, выйдя из себя, начинала хлестать его вожжами - да только что вожжи изработанному коню! И, наверное, доехала бы лишь к утру, если б километрах в трех от села позади них не показались волки - тут, учуяв их, Серко без всякого кнута рванул вскачь, да так, что мама вцепилась в сани и молила судьбу, чтоб не опрокинулись... А как только влетели в село и волки отстали, он, вконец вымотанный, опять начал еле переставлять ноги, да еще, когда ехали мимо школы – уперся, никуда больше не желая идти. Но у мамы уже не было сил идти пешком домой – от пережитого страха подкашивались ноги – и она гнала Серка дальше...

* * *

А сейчас он лежал на боку с запрокинутой головой, тяжело дышал, и по его коже пробежали судороги. Но он был жив: заметил меня, скосил свой фиолетовый глаз, в котором отразились мы, все втроем, и прянул ухом. Узнал? Вспомнил хлебные корочки? Даже, кажется, вздохнул - будто сказал: да, брат, плохо мне, - затем его выпуклый глаз снова уставился в пустоту синего неба с белыми барашками на нем.

Но когда конь встрепенулся при моем приближении, директор глянул на него с интересом и сказал:

- А что, Арсений, давай-ка дадим еще горицвету? Может, подыметя?

- Пряма не знаю, Никитич, - пожал плечами Орся.

- Ты же конюх, должен знать!.. Тащи воды!

Орся поднял ведро и, монотонно скрипя деревянной ногой, поковылял на задний двор, к колодцу, а я с тоской смотрел ему вслед: как медленно он идет! - и набирался решимости: пойти - не пойти помочь? И когда он уже скрылся за углом сарая – сорвался следом, и стоял потом за его спиной, пока он поднимал журавлем воду, и робко предложил, когда он налил, наконец, полведра из колодезной деревянной бадьи:

- Можно, я понесу?

- Неси, - разрешил он.

Я с радостью ухватился за ведро и, стараясь не плескаться, единым духом пронес ведро от колодца до коня и поставил перед директором. Орсина деревяшка еще долго скрипела сзади.

Директор вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку, до половины наполненную темной жидкостью, и вылил часть ее в ведро.

- Не много ли? - спросил Орся, доскрипывая последние шаги.

- А вдруг да?.. - сказал директор. - Держи голову!

Орся взялся поднять голову Серка - и не мог: не хватало сил. Директор поставил ведро рядом с лошадиной мордой и стал помогать Орсе; вдвоем они кое-как подняли ее и стали совать губами в ведро; Серко сопел, хлюпал в воде носом, но пить не желал. Они оставили, наконец, его в покое; конь опять бессильно положил голову на траву.

Орся то вздыхал и ходил вокруг коня, то, не зная, что еще сделать, норовил положить его запрокинутую голову поудобнее.

Конь лежал неподвижно и дышал все реже и тяжелее. А я все смотрел в его глаз - в нем одном еще чувствовалась жизнь - и заметил, как в углу глаза накопилась капля и тихо сползла вниз. Лошадь понимала свое бессилие.

Заметил и Орся:

- Ишь, плачет. Прощается.

- Брось ты выдумывать! - раздраженно бросил директор; Орся ничего не ответил, только понуро покачал головой.

Еще не знакомый с человеческой иерархией, как я ненавидел в тот момент директора и презирал Орсю за его легкое согласие: как густо и сочно все было окрашено для меня в то время приливами состояний любви, ненависти, презрения, сочув-

ствия, сожаления, стыда, страха, восторга, горя и удивления! Иначе я и представить себя не мог - вся жизнь моя тогда была окрашена ими - они переполняли меня, я задыхался от их избытка... Но я ничем не выдавал себя – к тому времени я уже научился ловко притворяться перед взрослыми. Им казалось, что я ничего не понимаю из того, что понимают они, и возражать им было не только бесполезно, но и опасно: на тебя смотрят, как на муху, спорить с которой - значит опуститься ниже своего достоинства, и которую хочется прибить с досады. Мне часто бывало стыдно за них... Тут директор вынул из нагрудного кармана часы на цепочке, посмотрел на них и сказал:

- Ну что, Орся? Мне надо на митинг... Да, видно, не жилец... Но, может, отлежится – тогда попробуй еще горицвета? - директор отдал Орсе бутылку с остатками темной жидкости и пошел к калитке.

Я осмотрелся; мимо забора в сторону сельсовета шли люди. Я вспомнил, что тоже хотел туда, но жалость к Серку не отпускала меня. Я продолжал внимательно смотреть в глаз Серка – он один продолжал быть живым: влажно блестел и отражал небо; дрожали белесые ресницы.

Но вот глаз полузакрылся, начал уходить в себя, тухнуть и подергиваться мутной пеленой; чтобы всмотреться в него, я присел на корточки.

Вдруг конь резко поджал под себя ноги и попытался упереться ими в землю, чтобы вскочить – раз, другой; но ничего уже не мог, и ноги его опять расслабленно вытянулись.

- Знаешь что, паря? – сказал мне тогда Орся. – Неча тут торчать, давай-ка тоже туда! – он махнул рукой в сторону сельсовета.

Я встал с корточек и, глядя в землю, побрел к калитке, в которую ушел директор. Однако шел я, еле волоча ноги и оглядываясь: все казалось, что сейчас что-то должно произойти - какое-то знамение... Но ничего не происходило.

Я обратил внимание, что иду по цветам. Огляделся вокруг - и в самом деле: по всему двору на молодой траве высыпали одуванчики – как золотые веснушки на зеленом теле земли: согретые солнцем, они враз раскрылись! И чуть не в каждом жадно барахтается голодная пчела или шмель...

Я старался шагать, не наступая на цветы, но тут взял и раздраженно растоптал один, в котором купалась пчела, а потом оглянулся и посмотрел. Раздавленный цветок и раздавленная пчела - и опять ничего не изменилось. От нестерпимой боли в душе хотелось плакать, и было не до митинга. Я шел туда - и не шел.

* * *

В одном месте дорогу к сельсовету подмывала река, и когда я бывал тут, то останавливался посмотреть, как она рушит глину, настырно вгрызаясь в крутояр. Остановился и сейчас, скользя взглядом по обрыву, облепленному желтыми цветочками мать-и-мачехи, и глядя на водовороты мутной пенистой воды под обрывом. Не помню, о чем я думал тогда, но в голове моей шла мучительная работа... Только, помню, поднял голову и обвел кругом будто бы не своим, а чужим каким-то взглядом, и мне показалось, что всё вокруг, в том числе и я тоже, не само по себе - а лишь отражение в чьем-то огромном холодном глазу...

Тут со стороны сельсовета раздались частые выстрелы. О-о, да там что-то интересное! Спohватившись, я что есть мочи побежал туда.

Но когда пришел к сельсовету, с митинга уже расходились. Навстречу шла группа женщин; одни всхлипывали, другие радовались и возбужденно говорили; за ними шел Коля-Мордвин с охотничьим ружьем за плечами; шел сухонький седой Матвей Хименков в штопанной-перештопанной, выгоревшей добела гимнастерке враспояску, в таких же галифе и в галошах на босу ногу.

Матвей догнал женщин, достал из кармана сложенную во много раз газету, развернул и, тыча пальцем в фотографию военного, начал хвастать, безмятежно улыбаясь выцветшими глазами в красных веках:

- Видали? Мой-то Егор - сталинский сокол! Двадцать семь самолетов сбил, во как! Дважды Герой! Скоро вернется - письмо прислал...

Женщины дружно закивали:

- Да, Матюша, молодец твой Егор! Приедет, раз обещал - как же не приехать к родному *тятю*? Денег привезет, приоденет тебя! Вот порадуетесь-то... – только знали они: никакой его сын не летчик – рядовой пехотинец он был, и в первый же год войны пришла на него похоронка...

Коля, другой мой сосед, казался мне тогда большим и взрослым, хотя его еще не призывали в военкомат – ему было всего шестнадцать. Зимой он ловил на петли зайцев, весной и осенью стрелял уток (всю добычу ему надо было сдавать), а летом рыбачил с бригадой. Мы с ним дружили, то есть, попросту, я таскался за ним, карауля его санки с застывшими зайцами, пока он обегал на лыжах расставленные по бу-реломам петли, или - мешок с битыми утками, пока он скрадывал очередную стаю, или таскал пустые ведра, пока рыбаки заводили на реке и по озеркам очередную *тоню*. Но доставались мне там и трофеи - прямо в опрокинутую кепку мне насыпали рыбной мелочи: золотых карасиков и зеленоспинных окуньков с алыми плавниками,

и я бежал домой хвастаться: вот сколько заработал!..

- Что ж ты, сосед, опоздал-то? – весело упрекнул меня Коля. – А мы салют давали. Из шести ружей! Пошли домой, ничего больше не будет...

Но мне не хотелось домой - надо было рассказать маме про смерть Серка, а найти ее было непросто: после митинга на площади осталось полно людей – возвращаться с праздника домой никому не хотелось; разбившись на кучки, они возбужденно все враз говорили, смеялись, перекликались со знакомыми, так что над площадью стоял шум. Это было невероятно и озадачивало меня – впервые в жизни я видел столько радостных лиц и веселого блеска глаз!..

И там было полно ребятни; ей передалось это всеобщее возбуждение взрослых - она носилась между ними и галдела не меньше их.

* * *

Там были и *наши пацаны*...

В школе или по дороге из школы деревенские пацаны между собой не дрались, но как только ты оставил дома школьную торбу и вышел на улицу – сразу начал принадлежать только своей улице: ходить одному на чужую улицу было небезопасно – могли и *отлупить* только за то, что это их, а не моя улица; так что обстоятельства вынуждали сбиваться в ватаги.

В нашей ватаге атаманил Толян... Ему - двенадцать, предел для *пацана*: после двенадцати уже стыдно было *водиться с малышкой*: наваливались дела. Да наш Толян и так чувствовал себя почти взрослым: гудел басом, попыхивал самокруткой, если имелся табачок, и стрелял из *поджиги* (медной трубки, примотанной к деревянной ручке); эта *поджига* постоянно торчала из голенища его больших отцовских сапог.

Свой пацан мог и поспорить с ним, даже подразнить – в ответ Толян лишь *ставил щелбан по лысине*. Но во враждебной среде – а она за пределами улицы была всюду – полагалось беспрекословно ему подчиняться.

Наших пацанов набралось тогда пятеро, и они уже уходили.

- Вы куда? - спросил я.

- На *кудыкину гору*, – удостоил меня Толян насмешливым ответом; но любому другому не зазорно было ответить мне честно, и они сказали, что они - в лес, нарвать *мамкам* цветов. И я, представив себе, как мама обрадуется им в этот день, отчаянно запросился с ними. Однако Толян с важностью возразил:

- Ты еще маленький – в лес; подрасти.

Я-то подозревал, что он просто боится моей мамы. Пришлось убеждать его, да и всех остальных заодно, что еще в прошлом году я ходил туда один: носил маме обеды на покос, - и они меня взяли.

Мы свернули в проулок и вышли на выгон.

И тут тоже - рассыпанные в молодой траве одуванчики. В небе висят, трепеща крылышками, словно подвешенные на солнечных лучиках, жаворонки.

Лес - в километре отсюда.

Этот березовый лес обогревал и кормил все село: в нем пилили дрова, косили сено, собирали грибы и ягоды; весной учителя водили туда школьные классы заготавливать березовые почки для фронта... И в тот же лес тянулись веснами в поисках приключений и блуждали в нем мальчишечьи ватаги.

По дороге я рассказываю им, что видел сейчас, как умирает школьный конь Серко. Сразу несколько пацанов предлагают дать крюка и тоже посмотреть; однако Толян диктаторски пресекает предложение.

И вот мы вступаем в лес. Кругом белые березовые стволы поддерживают навес из пока что дымчато-зеленых крон. Солнечные блики пронизывают их насквозь и, рассыпаясь вдребезги, падают в траву. Тихо – будто заложило уши; слух улавливает лишь птичьи голоса: попискивают мелкие птицы; перекрывая их писк, невидимая иволга изредка звучно высвистывает где-то вблизи: «Никиту видел?» Сразу несколько мальчишек берутся передразнить ее свистом; тогда прямо на нас выпархивает яркая желто-зеленая птица и - шарахается прочь... Слышна далекая, как эхо, кукушка. Перед нами перепархивают, стрекочут, гонят нас дрозды: «Пошли прочь отсюда!» Но мы и так идем дальше - цветов пока мало: тут пасется скот, ходят люди. Толян знает, где их много, и уверенно ведет нас вперед.

* * *

И, наконец, перед нами предстают нетронутые цветочные поляны: в частом березняке сплошь кустятся синие медуницы; на взгорках от легких дуновений колышутся на тонких ножках белые ветреницы-анемоны; среди них промельком - малиновые искры примул, а во влажной лощине среди сочной зелени и голубеньких незабудок полыхают золотые огни купальниц.

По-разному, но с одинаковой нежностью - «жарками», «огоньками» - зовут в разных местах Сибири эти цветы. И в самом деле: заглянешь внутрь цветка - там по-

лыхает, не сгорая, маленький жаркий огонь с многоязыким чистейшим пламенем... Помню, уже взрослым я впервые увидел цветы купальницы европейской и поразился невзрачной - лунной, зеленовато-желтой – ее бледности. В этой бледности есть своя скромная прелесть - но ни в какое сравнение она не идет с праздничным нарядом купальницы азиатской. Для сибиряка она - символ солнца, и одновременно – весны, такой долгожданной в Сибири, такой скоротечной, стремительной и полной резких погодных контрастов. ...

- Вот они где! – с царским достоинством обвел рукой Толян, предоставляя эти поляны нам. И мы беремся за дело, выбирая самые сочные, самые крупные, самые красивые... Букеты собрали быстро. А день все длился; уже столько событий случилось, а он лишь успел перевалить за середину...

И тут мы спохватились: хочется есть! А еда - кругом... Меня начали учить ее добывать, и я быстро, на ходу усваивал эту науку, которая потом помогала мне еще не раз; мы рвали сочные цветоносные стебли медуниц, очищали их от листьев и кожицы и жевали их хрупкую мякоть, а, выдергивая из цветоложа синие цветки, откусывали их белые цветоножки; мы отыскивали молодые стреловидные листики щавеля, сизые побеги лука-слезуна, тонкие перышки дикого чеснока и совали, совали все это в рот; мы обрывали свеженькие побеги тальника, счищали с них кору и хрустели сладкими зелеными стебельками; мы выдирали из листовых пазух белесые жестковатые побеги пырея и обкусывали их кончики. Мы искали точащие из земли, как бело-розовые кулаки, молодые ростки ревеня и съедали их полностью. Особенно лакомы были луковицы лилии-саранки, «царских кудрей», этих хрупких цветов с круто завитыми лиловыми лепестками; найдя стрелку побега, мы выковыривали из земли желтую сочную луковицу и, кое-как оттерев от грязи и набив ею рот, с хрустом и брызгами изо рта жевали ее.

Но - странное дело: по мере того, как мы набивали животы, есть все хотелось и хотелось: энергия, истраченная на добычу еды, не восполнялась. При этом азартная погоня за ней уводила нас все глубже в лес... Стало жарко; наши цветы начали обвисать, и ребята бросали их: «Новые соберем!» Однако я нес свои упорно.

* * *

Мы замечали бурундуков, но они, явно уже знакомые с человеком, быстро прятались; однако один, веселый и любопытный - молодой, наверное: совсем еще мальчишка! - нисколько нас не боялся; лес становился глуше, и он, легко перебегая

с валежины на валежину, замирал, став столбиком, оглядывался на нас и посвистывал – будто приглашал к игре. И Толян не выдержал: схватил с земли палку; остальные, зараженные азартом, тоже похватили палки.

- Зачем вы? Не надо! – закричал я, чуть не плача, но куда там: они лишь отмахнулись от меня:

- Да замолчи ты!..

Толян выбрал момент, когда бурундучок замер, швырнул в него палку - и попал; бурундук свалился в траву и пополз, было, под валежину, но остальные пацаны настигли его, добились и теперь стояли над ним, не зная, что делать дальше. Я протиснулся сквозь кружок – посмотреть, что с ним стало.

Зрелище было ужасное: рыжий полосатый бурундучок был расплюснен; из заднего прохода у него вылезли кишочки, а во рту сквозь длинные белые зубки пузырилась кровавая пена. Я посмотрел на товарищей недоуменно: я и не подозревал, что в них сидят злодеи! Странно как: каждый в отдельности – хороший пацан, у каждого своя улыбка, своя интонация в голосе, отличающая его от других - но что с ними стало, когда они вместе?.. Как я ненавижу их в тот момент!.. И с той поры ненавижу слепую, заразительную жестокость толпы: вот она, сторукая и стоглазая, основа агрессии по отношению к «другому», к «чужому»!

* * *

А между тем по лесу стало трудней идти: кончились тропинки; чаще попадались толстые гнилые колоды, через которые надо перелезть; в прошлогодней, не выкошенной траве путались ноги. В довершение всего мы уперлись в ручей, текущий в низине среди непролазных зарослей.

Толян остановился в недоумении:

- Странно! Тут не было ручья!..

Значит, надо возвращаться, только и всего. Сквозь заросли мы все же пробрались к ручью, напились воды и повернули обратно, уже помалкивая, идя без остановок и без той беспечности, с какой нас сюда влекло.

Шли долго. Казалось, лес уже должен был кончиться, а ему все не было конца. Мало того, по-прежнему под ногами тянулась старая некошенная трава, и по-прежнему – ни дорог, ни тропинок. Беспокойство наше нарастало; медленно таял непререкаемый Толянов авторитет - ватага готова была возроптать на него. Да Толян и сам чувствовал беспокойство и растерянность.

Вдруг один из нас сказал удивленно:

- Смотрите, собака!

Наискосок к нам в высокой траве и в самом деле бежала большая серая собака со стоячими ушами и узкой мордой. О, как мы ей обрадовались!

- Это же Джек деда Пунделя! – спасая свой авторитет, бодро сказал Толян и в доказательство позвал: - Джек, ко мне! Джек, Джек! - и мы, поддерживая Толяна, завопили скопом: - Джек! Джек! Иди к нам!..

Джек остановился метрах в тридцати, глянул на нас холодно и, пересекши нам путь, спокойно потрусил себе дальше, скрывшись за деревьями. А мы продолжали кричать, свистеть и улюлюкать ему вслед.

- Х-ха! - презрительно фыркнул Толян. – Волкодав, а боится...

И когда он произнес слово «волкодав», остальные напряженно замолчали, а один высказал вслух не очень уверенную догадку:

- А ведь это волк.

Молчание стало тягостным. И нас сразу оглушила тишина; солнце померкло, упав куда-то за верхушки берез и запутавшись в них, как в сетях. Лес показался непомерно высоким, глухим и чужим, а сами мы стали тесно сбившейся и озирающейся кучкой.

Однако Толян, к его чести, не дал поселиться в нас панике:

- Давайте, пацаны, найдем себе по хорошей палке!

Он будто кинул нам спасательный круг - все бросились искать палки. И я тоже принялся искать себе палку по силам, бросив свой вконец увядший букет. Зато с палками стало веселей и надежней.

Однако лес по-прежнему никак не хотел кончаться, а солнце, клонясь, все плотней увязало в молодой полупрозрачной листве деревьев.

* * *

И тут мы услышали далекий-далекий, но явственный рокот. Он был совсем не в той стороне, куда мы шли. Решили идти на него.

И вот лес расступился. Перед нами чернело свежевспаханное поле, непаханная кромка которого, прилегавшая к лесу, щетинилась старой желтой стерней. Справа, уже низко над землей, висело огромное, багровое теперь солнце, а слева, густо пыля плугами, к нам медленно приближался гусеничный трактор. Мы стали его ждать.

Наконец, он поравнялся с нами и, густо пахнув на нас горячим машинным маслом, остановился. Из подобия кабины без стекол и дверей спрыгнул на землю трак-

торист с черным, как у негра, лицом – белели только зубы и белки глаз, да еще - седая щетина на щеках, и, как кровавая рана на лице, краснел рот. С высокого сиденья над прицепом с плугами позади трактора соскочил другой человек, тоже чернолицый, и оба направились к нам.

Весь в черной промасленной одежде, черный лицом тракторист показался мне страшным. Прицепщик, идущий следом, в большом пиджаке, запахнутом глубоко подмышку и перетянутом в поясе веревкой, был щупл и невысок, однако и он выглядел угрожающе. Я готов был рвануть со всех ног в лес; да, кажется, и вся наша компания приготовилась дать стрекача.

- Только, это ты, что ли? – вдруг спросил тракторист.

- А это вы, дя-а Коля? – в свой черед осторожно спросил Толян.

- Ну, я, - ответил тракторист. – А какого черта вы тут делаете?

- Да хотели цветы матерям... - принялся было объяснять Толян.

- Хм, цветы! – угрюмо усмехнулся тракторист и повернулся к прицепщику: – Слышь, Серёнька: это они за цветами сюда приперлись! Сегодня распишут им дома цветами задницы!..

Я всмотрелся в «Серёньку» и узнал его - он с соседней улицы: еще недавно гонял, как и мы, даже ставил мне *шелбаны*, - а теперь Серёнька смотрит на нас свысока. И наш Толян рядом с ним сразу уменьшился ростом. А тракторист опять обратился к нему:

– Ох, Толька-Толька, отцов на вас нет... Это ж надо: за семь верст уперлись, а? Еще и мальчика с собой таскаете, – кивнул он на меня.

- Да мы это... подарить в День Победы, - бормотал Толян.

- Как? – встрепенулся тракторист. – Победа, что ли?

- Ну да! - важно на этот раз ответил Толян, и тут все остальные, перебывая друг друга, пришли ему на помощь: - Митинг был!.. Председатель сельсовета выступал, директор школьный... Стреляли, салют давали...

- Так бы сразу и сказали, а то молчите! – повеселел тракторист и опять повернулся к прицепщику. – Слышь, Серёнька, а я все думаю: чего это пахота у нас сегодня так спорится? И трактор ни разу не заглох: прет и прет! И, *главно дело*, бригадир не *показыватся!*.. Ох, в баньку-то бы *щас!*... Да там, поди-ко, и выпьют сегодня?.. Ну, молодцы, *робяты*, что сказали. Давай-ка, Серёнька, допашем скорей, да, может, нас и домой отвезут - ради Победы-то?.. А вы давайте-ка вот так, краем пашни, - уже доброжелательно показал он нам рукой в сторону, противоположную заходу солнца, - и дуйте, да побыстрей, а то ночь скоро. Кончится пашня – там дорога будет; так вы

по ней. А там и деревню увидите...

И тракторист с Серёнькой повернулись и пошли к трактору, а мы потопали, как он показал, краем пашни, беспокойно оглядываясь на солнце, замечая, с какой быстротой оно клонится все ниже и ниже к земле.

Семь километров, после целого-то дня на ногах, казались бесконечными: идешь-идешь, а всё почти на месте... Я неизменно теперь плелся сзади, и каждый по очереди считал нужным на меня цыкнуть:

- Ну, ты чего, как вареный-то? Шевелись быстрее!..

Чем ближе к ночи, тем больше беспокоила недавняя встреча с волком. Кто-нибудь ни с того ни с сего вдруг спросит недоуменно:

- А он, наверное, не один там был... Где же остальные-то? - и мы понимали, кто это *он*, и все глубже уходили в собственные невеселые мысли... А дороге все не было конца - как не было конца этому бесконечному дню.

Наконец, далеко в низине показалось село. Солнце зашло; здесь, в поле, еще стояли светлые сумерки, а село уже потонуло во мраке - мерцали первые огоньки. Еще так далеко до дома - а ноги уже совсем не шли. И в то же время с приближением к дому нами все больше овладевала не радость - а уныние: что-то нас там ждет?

К нашему облегчению, нас догнала одноконная бричка; в ней, кроме юного возчика, восседавшего на железной бочке из-под горючего, сидели уже знакомый нам тракторист с Серёнькой. Подобрали и нас. И лошадь, и седоки торопились домой, так что бричка, подпрыгивая и тарахтя на неровной дороге, неслась под горку споро и мигом домчала нас до села.

* * *

К дому я подошел в темноте. С нарастающим страхом: что-то сейчас будет? – поднялся на крыльцо и дернул входную дверь. Дверь была заперта, и я с ужасом понял: меня не ждут!

Рядом - кухонное окно; ближняя створка его открыта и завешена марлей - это делалось, когда наступало тепло. Я осторожно глянул сквозь марлю: в темной кухне бледнел слабый огонек; из-за марли вместе с домашним теплом, сулящим покой и уют, тянуло заманчивыми кухонными запахами, и я тотчас вспомнил, как страшно хочу есть.

- Ма-ама! – жалобно позвал я и наострил уши.

В кухне послышался шорох; я напряг слух, но разобрать ничего не мог. Затем за марлей раздался строгий бабушкин голос:

- У нас все дома!

- Бабушка, это я! – горячо залепетал я.

- Кто это «ты»? – спросила бабушка сухо. – Не знаю такого.

- Ну я, я! Простите меня – мы в лесу заблудились! – продолжал я ныть; хотелось плакать от обиды, раскаяния, от жалости к себе и страха, что меня и в самом деле не пустят; однако плакать я уже не мог: так устал, - только стоял и ныл, вполне осознавая, как это нытье противно даже мне самому.

- Мама полдня бегала по деревне и искала своего сына, – опять раздался бабушкин голос. – Но она его нашла. Все мальчики, у кого есть дом, уже дома!

У меня мелькнуло в голове: а ведь и в самом деле все уже дома; я последний - потому что живу дальше всех!..

- Ма-ама-а, прости-и, я больше не бу-уду-у! – продолжал я назойливо ныть, обвиняясь теперь только к маме, а не к строгой бабушке, продолжая в то же время прислушиваться к шорохам, еще не зная, что мамы дома все еще нет – она сломя голову бежит по деревне и ищет меня...

И вдруг почувствовал: за моей спиной произошло что-то беззвучное. Я оглянулся и обмер: далеко над заречными болотами и лесами показалась в темноте светящаяся багровая полоса; она быстро вспухала и дыбилась кроваво-огненной горой. Я никогда еще не был так поздно на улице и не видел ничего подобного. Про все забыв, зачарованный, я, словно лунатик, спустился с крыльца, миновал калитку и покорно пошел навстречу видению.

До берега, который обрывался крутояром, было метров двести. Пока я шел к нему, передо мной выкатилась, взбираясь все выше в небо, огромная луна, из багровой превращаясь в золотисто-желтую.

А когда дошел до края обрыва и остановился - все вокруг странно изменилось; знакомый мне мир в темноте был совершенно иным - многомерным, таинственным: пространство между мною и луной странно голубело и серебрилось; глубоко внизу пролегла по черной речной воде сверкающая дорожка; с переката вдалеке слышался совершенно неслышный днем плеск, шум, бульканье; но самое странное – воздух вокруг звенел и переливался... Мне открывалась ночная сторона жизни, таинственная, глубокая и не менее интересная, чем дневная; я был поражен своим открытием!

Я совершенно изнемог и, уже не в силах стоять, сел, поднял коленки и прижался к ним грудью, глядя перед собой и слушая эти странные переливы и этот звон. И тотчас уснул - очнувшись уже в маминых руках... Это потом она мне рассказала, что, когда я стоял и ныл у окна – она, уже успев побывать и в лесу, и обойдя все село,

как раз бежала домой, потому что столкнулась с Серёнькой и тот ей все про нас доложил.

- Какой противный мальчишка: замерз, устал... Вот устроил мне праздник! - ворчала она, завернув меня в свой жакет и крепко меня обнимая.

Я сам прижимался к ней, чувствуя, как льются в меня ее тепло и нежность. Никогда: ни до, ни после, - не было у нас с ней такого душевно-телесного слияния, как в тот странный вечер, которым окончился день: мама судорожно обнимала меня, желая оградить от всего, что влекло меня, соблазняло и манило...

- Мама, а что это звенит? – угревшись, сквозь сон спросил я.

- Где, что звенит?

- Да вот, вот! Слышишь?

- А-а! – догадалась она. – Так это же соловьи!..

И тогда я понял, что отовсюду: из-за реки, из лепившихся по склону обрыва кусков акации, жимолости и крушины, - раздавались трели, свист, щелканье многих-многих птиц, сливаясь в сплошной звон.

- Ну, всё, пошли домой, - сказала она. - Но мне тебя не донести – ты уже вон какой тяжелый, а я устала, - она опустила меня на землю, оставив на мне свой жакет, взяла за руку, и мы пошли домой; этот не совсем обычный день в ряду бывших до него и еще предстоящих, наконец, кончился...

Но когда я вспоминаю про него – он представляется мне средоточием всего, окружавшего меня тогда: всеобщей военной беды, смертей, нищеты и натужности жизни, и одновременно – необыкновенной красоты вокруг. И всё кажется: именно в тот день я очнулся от младенческого сна, в котором пребывал до этого, лишь моментами приходя в себя; очнулся, пришел в себя и начал постепенно осознавать, что существуют две разные части мироздания, несводимые в одно: человеческая жизнь - и необыкновенная красота мира, от которой замирает дыхание и сильнее стучит сердце; и в глубокой трещине, разделяющей эти две части, живу я, раздираемый ими надвое, сросшийся со всем этим намертво, любящий это всё и все же отдельный от всех: от бабушки, от мамы, от коровы и овец, от солнца и травы, ото всего села вместе с директором школы, Орсей, Толяном и всей нашей уличной стаей, от нашего огорода и от полей вокруг села, по атому собиравших воедино мое щедрое тело. Я продолжал чувствовать родственную связь с этим миром и до конца дней буду нести в себе пуповину связи с ним - но вместе с тем именно с того дня я все больше и больше отдалялся от него и все более чувствовал и осознавал себя, отдельного от всех, и растил в себе себя самого. Так что спокойно могу объ-

явить, что я – родное дитя и прямой наследник той великой, мучительной, страшной Победы.